

Рецензии

Познавая в сравнении: о евростандартах, мужчинах и истории

Barbara Evans Clements, Rebecca Friedman and Dan Healey (eds.) *Russian masculinities in history and culture*. New York: Palgrave Publisher Ltd., 2002. 242 pg.

Барбара Эванс Клементс, Ребекка Фридман и Дэн Хили (ред.). *Российские мужчины в истории и культуре*. Нью-Йорк: Издательство Палгрейв Лтд., 2002. 242 стр.

Сергей Ушакин

Недавний репортаж корреспондента «Нью-Йорк Таймс» с открытия художественной выставки «Мужчина сегодня» начинался так: «Белый дом обеспокоен. Ватикан расстроен. И честно говоря, сегодня, когда ничего нормального у нас уже не осталось, вряд ли кто-то сможет их упрекнуть. Ведь брак и семья – под сомнением. Содомия – неожиданно – уже не преступление. «Голубые» – в Конгрессе, за кафедрой и на телевидении. А если я вам скажу, что в музее искусства «Метрополитен» вот-вот начнётся выставка под названием «Отважные сердца: мужчины в юбках», вы поймете, как далеко мы зашли». ¹

Подобные реплики – ироничные и не очень – не редкость на страницах популярной, да и академической, прессы США. Тема «войны полов», столь долго занимавшая общественное мнение Запада, сменяется иной, – сходной, но не совпадающей. Анализ отношений между полами, стимулированный в 1960–1970-х гг. студенческим и феминистским движением, на рубеже веков пришёл к логическим попыткам выяснить те принципы, закономерности, особенности и противоречия, которые составили и составляют специфику каждого пола в *отдельности*. Начавшись в 1990-х, нынешний этап «проблематизации пола» характеризует настойчивое стремление продемонстрировать, что сами исходные понятия «*мужчина*» и «*женщина*» лишены стабильности, целостности и очевидной определённости. Что стандарты поведения, предписываемые конкретному полу, – то самое «нормальное», об отсутствии которого пишет арт-критик из «Нью-Йорк Таймс», – есть лишь дань традициям, то есть ритуалам, в которых отразились случайно сложившиеся конфигурации отношений между конкретными людьми. Различия между представителями одного пола оказались в итоге не менее существенными, чем различие *между полами*. Именно этот акцент на *внутренней* структуре пола и позволил привлечь внимание к тому переплетению классовых, этнических, культурных, семейных, возрастных, региональных

¹ *The New York Times*. August 8, 2003. P.E32. Три месяца спустя свой репортаж с открытия самой выставки об «отважных сердцах» *The New York Times* показательным озаглавила так: «Кому носить юбки в стране свободных?» (*The New York Times*. November 7, 2003).

и т.п. характеристик индивидуальной жизни, результатом которой, собственно, и становится конкретный «мужчина» или конкретная «женщина».

Разумеется, подобная дестабилизация понятия «пол», как и тот релятивизм в оценке половых практик и сексуальности, который мы наблюдаем в течение последних 10–15 лет, вряд ли представляет собой нечто совершенно новое. Социальная антропология уже более ста лет вполне успешно документирует общий тезис о том, что «половое поведение» есть итог обучения тому, как себя вести, и потому определяется не столько природными данными человека, сколько его знанием соответствующих «норм» и «правил», то есть – диапазоном его культурной компетенции. Маргарет Мид, например, в своей классической работе «Мужское и женское» отмечала в 1948 году: «В каждом известном нам обществе создается и искусственно поддерживается деление между полами, проведённое таким образом, чтобы требования, предъявляемые к профессиональной занятости и личностным характеристикам представителей одного пола, ограничивали человеческие возможности (humanity) другого пола. Иногда подобное деление выражается в форме отрицания различий, которые существуют в рамках одного пола, например, в виде положения о том, что мужчина должен быть выше женщины, которое, соответственно, предполагает, что мужчина, уступающий в росте женщинам, – не совсем мужчина. Это – лишь простейшее свидетельство пагубности подобных обобщений. Можно было бы перечислить и тысячи других, укоренённых в нашем нежелании признать громадное разнообразие человеческих существ, комбинации которых иногда поражают своим контрастом больше, чем, допустим, сожительство кролика со львицей или овцы с леопардом» (Mead, 1972: 350).

Новизна *нынешних* дискуссий о «смысле пола», повторюсь, не в их тематике, а, скорее, в их масштабе. Выйдя за пределы традиционных дисциплин (психологии, антропологии, сексологии и т.п.), дебаты о «проблемах пола» породили мощный поток художественной, публицистической, мемуарной, автобиографической, литературно-критической и обществоведческой литературы, фиксирующей разнообразные нюансы «женского» или, соответственно, «мужского» в нашем прошлом и настоящем.

Книга, о которой пойдет здесь речь, может рассматриваться как естественное проявление этой общей тенденции. Подготовленный к печати тремя англоязычными авторами сборник статей, название которого можно было бы перевести как «*Российские мужчины в истории и культуре*», стал первой попыткой (в основном) зарубежных историков взглянуть на отечественное прошлое с точки зрения исторических вариаций норм и практик «мужского» поведения. И хотя сборник адресован прежде всего зарубежной аудитории, на мой взгляд, он может быть интересен и отечественному читателю – и с точки зрения тех выводов, к которым приходят авторы, и как пример определённых исследовательских технологий, связанных с соответствующим отбором/подбором исторических документов и способов их интерпретации.

Одиннадцать статей сборника (плюс введение и заключение со-редакторов) организованы хронологически: «история и культура» России начинается в данном случае очерком о любви в петровской Руси и заканчивается анализом «*Советского спорта*» 1950-х годов. Однако временная последовательность призвана продемонстрировать здесь последовательность иного рода.

В своём предисловии американский историк Барбара Клементс, автор нескольких монографий, посвящённых советским женщинам, приводит список моделей мужественности, последовательно господствовавших в Европе в течение последних тысячелетий: военно-гражданская модель античной Греции; патриархальная иудео-христианская модель; феодальная модель, основанная на кодексе чести и покровительстве и, наконец, протестантская модель буржуазной рациональности. Задавая определённый вектор прочтения сборника, Клементс отмечает, что «тексты, вошедшие в состав сборника, являются... попыткой вместить (to fit) Россию в рамки этих широких тенденций, установить, насколько российская культура на протяжении столетий совпадала с остальной Европой или отличалась своими собственными пониманием и практиками того, что считалось мужским характером и мужским поведением (Clements, 2002: 10).



Автор предисловия не объясняет, почему поиск сходств и различий с «остальной Европой» должен стать организующим принципом исследования *российских* мужчин. Сам географический выбор, возводящий «европейские» принципы классификации (мужского поведения) до уровня интеллектуального «золотого стандарта», в соответствии с которым определяются сходства и отклонения всех остальных, – лишь часть проблемы. Удивителен, разумеется, не сам евроцентризм, сколько та неувыдающая настойчивость, с которой он выдается за естественную форму концептуализации исторического материала, несмотря на активную критику подобного подхода в англоязычном обществоведении последних лет (См. подробнее: Todorova, 1997; Chakrabarty, 2000). Основная же проблема, на мой взгляд, заключается, прежде всего, в том, что подобная риторическая стратегия позволяет эффективно избавиться от необходимости вникать в артикулированные или – что чаще – лишь подразумеваемые принципы классификаций и типологий, которые сформировались *на местах*. Доступность «европейского» теоретического лекала, его «всеобщий» статус, позволяющий уйти от рефлексий по поводу того, почему российская история (и культура) должна непременно выступать как *сравнительная* история.

О менее явных аспектах такого подхода к организации исторического материала в сборнике речь пойдет ниже, пока же лишь замечу, что, несмотря на коллективную задачу концептуально-хронологического сравнения, тексты сборника объединяет всё-таки другое. Целью статей стал не столько сравнительно-сопоставительный анализ, сколько методологические попытки «встроить» возможные пути и способы идентификации «мужского» поведения и «мужских» практик в рамки сложившихся традиций исторических исследований российского прошлого. На разнообразном материале авторы сборника попытались придать таким *оценочным* категориям, как «мужское» и «мужественное», беспристрастность исследовательского инструментария. Спектр этих попыток варьируется от традиционного стремления выявить скрытые «мужские» ценности и практики там, где обычно видят только «возрастные» или, допустим, «профессиональные», до попыток показать, как «всеобщие» формы поведения обретали исторический статус подчеркнуто «мужских» или вызывающе «немужских».

Среди наиболее расхожих представлений, связанных с понятием «русского мужчины», пожалуй, наиболее устойчивыми являются ассоциации с «выпивкой», «дракой» и «подвигами». Поэтому вряд ли удивительно то, что именно анализу этих практик и посвящено значительное количество статей зарубежных исследователей. Два текста в сборнике исследуют процесс *обучения* подобным ритуалам мужского поведения. Кристина Воробек в очерке, озаглавленном «*Мужчины в крестьянском обществе в России времен поздней империи.*» рисует, например, картину типичной социализации молодого крестьянского поколения, отмечая, что воспитание сыновей было одним из элементов, которые составляли авторитет патриарха-*большака* в крестьянской семье. Как пишет историк, «Мат, выпивка, курение, общение с женщинами, участие в кулачных боях с другими парнями, организация хулиганских выходок и проделок над соседями, а также попытки выяснить пределы гостеприимства соседей во время новогодних праздников, – всё это являлось частью воспитания сыновей» (Worobec, 2002: 80).

Временами подобные уроки усваивались сыновьями слишком хорошо, и большак был вынужден использовать иные меры воспитания для того, чтобы ограничить степень сыновьяго неповиновения. Чаще всего использовались публичные порки ивовыми прутьями (хотя лишение наследства и отказ сыну в разрешении на получение паспорта для работы за пределами деревни тоже имели место – р. 85). Публичные порки сыновей, как отмечает Воробек, имели предел – не больше двадцати ударов на каждого провинившегося. Иногда, учитывая серьезность проступка, суды шли на увеличение количества ударов (до сорока). По мере взросления сыновей, социализирующая роль большака с неизбежностью снижалась, вытесняясь влиянием таких «общественных мест», как шинки, кабаки и тому подобные распивочные. Однако, подчеркивает историк, вряд ли стоит видеть единственную цель социальной выпивки в достижении эффекта алкогольного опьянения; главным в ней всё-таки было проявление чувства товарищества и поддержка дружеских отношений (88).

Сходную роль товарищеской выпивки как института социализации исследует в своей работе «От мальчиков к мужчинам: мужская зрелость в университете николаевской поры» Ребекка Фридман (Friedman, 2002). Ритуалы студенческих выпивок, нередко сопровождавшиеся драками или беспорядками, рассматриваются исследовательницей как своеобразная реакция студентов на тот идеал *покорности*, с которым университетская администрация связывала чиновничье будущее своих выпускников.

Анализ социализации городской и сельской молодежи, изложенный в этих двух статьях, на мой взгляд, хороший пример использования классической интерпретационной схемы, известной по многочисленным социологическим исследованиям – от Талкота Парсонса до Ирвина Гоффмана. Как и другие сторонники теории социализации, авторы этих статей столкнулись с её типичной трудностью. Внимание к нормативному, предписывающему характеру социальных ролей обычно оставляет за скобками вопросы и об их происхождении, и о тех трансформациях, которым подвергались эти роли в процессе их усвоения. Акцент на том, как *играются* роли, оставил в тени вопрос о том, где и как именно эти роли «пишутся», – т.е. из какого набора элементов сложилась та или иная историческая норма мужественности, какие элементы (и почему) не вошли в её состав и на основе какой *внутренней* иерархии господство этой нормы стало возможным. Важно и другое. Демонстрируя «мужской» характер крестьянских драк или студенческих пирушек, историки, тем не менее, не смогли показать, где в данном случае проходит водораздел между «классовым» или «возрастным», с одной стороны, и собственно «мужским», с другой. Момент исторического оформления дифференциации корпоративных и половых характеристик, – той самой дифференциации, которая, собственно, и позволяет индивиду осознать, что «неудавшийся» студент (или крестьянин) и «неудавшийся» мужчина – не одно и то же, – оказался в тени этнографического описания ритуалов.

Разнообразные стороны социализации затронуты и ещё в одной группе статей. Однако речь здесь идёт не столько о непосредственном *обучении* тем или иным навыкам «мужского» поведения, или о реальных практиках конкретных людей, сколько о *репрезентациях* подготовки к мирным и военным «подвигам». Анализируя художественную, педагогическую и пропагандистскую литературу, авторы демонстрируют, как готовность к возможным испытаниям, связанная с культивированием *самоконтроля, самодисциплины, самоограничения* и *самоотверженности*, становится господствующей «мужской» чертой.

Катриона Келли, культуролог из Великобритании, в своей статье под названием «Тренировка воли: литература по самовоспитанию, закал и мужественность в России начала двадцатого века» исследует, «как концепция храброго, решительного и твердого мужчины, – лишь одна из возможных альтернатив в дореволюционный период, – превратилась в 1920 и 1930-х годах в господствующий идеал мужского поведения, чтобы вновь оказаться в маргинальном положении после Второй мировой войны...» (Kelly, 2002: 133).

Основная часть статьи посвящена тому, что Келли называет «предысторией *закала*». По мнению исследовательницы, эта тема проявилась в многочисленных переводных пособиях по самовоспитанию, заполнивших рынок массовой книжной продукции в России в конце XIX и в начале XX вв. История *закала* рассматривается на таком материале, как описания *дуэлей* среди русского дворянства и офицерства (М. Лермонтов, А. Куприн, А. Чехов), полемика в русской литературе по поводу традиционного безволия и вялости «*лишнего человека*» (Д. Овсяннико-Куликовский, русские символисты), а также разнообразные практики «*выживания*», описанные в советской (В. Маяковский, А. Караваева) и эмигрантской (Н. Берберова, В. Набоков) литературе.

В центре внимания Джулии Гилмор и Барбары Клементс оказываются не столько художественные, сколько пропагандистские образы, а именно – материалы о спортсменах, опубликованные на страницах «Советского спорта» в 1940–1950-х годах. Авторы статьи «*Если хочешь быть таким, как я – тренируйся: Противоречия советской мужественности*,» в частности отмечают, что «атлеты, участвовавшие в одиночных видах спорта Олимпийской программы, стали любимой темой советских спортивных журналистов, пытавшихся сделать из них модель *культурыности*» (Gilmore, Clements, 2002: 213).



Итогом такой риторической стратегии стал образ «героя спорта» – успешного, трудолюбивого, и, что не менее важно, – *образованного* спортсмена, не имеющего (как правило) вредных привычек. Интересно, что такое использование спорта в воспитательных целях в послевоенный период резко отличалось от позиции партийных лидеров первого поколения, считавших индивидуальную спортивную конкуренцию «разлагающей и буржуазной» и потому предпочитавших ей групповую гимнастику и длительные прогулки ((Gilmore, Clements, 2002: 220).

Ещё один аспект героической модели мужественности рассмотрен в статье Карен Петроне. Используя публицистические и художественные произведения, описывающие военные конфликты между Россией и Японией (Русско-японская война 1904–1905 гг., Гражданская война 1918–1920 гг. и конфликт на озере Хасан 1938 г.), автор проследивает влияние этнических и классовых иерархий на оформление военно-героической мужественности в России и Советском Союзе (Petrona, 2002). В качестве соответствующего фона при этом нередко выступали фигуры солдат других национальностей. Автор приводит ряд примеров, в которых параллелизм воинской и этнической иерархий продемонстрирован особенно отчетливо. Комментируя замечание рассказчика в книге Д. Фурманова «Чапаев» о том, что полк мусульман, скомплектованный из представителей четырнадцати различных национальностей, «совершал подвиги неслыханной храбрости и героизма», Петроне отмечает, что «...эти войска, словно дети, нуждались в руководстве Коммунистической партии больше, чем другие формирования, поскольку [как пишет Фурманов] «они выросли медленнее и не могли сразу понять все причины и весь масштаб идущей социальной борьбы». У этих солдат была мужская храбрость, но не было мужского интеллекта. Благодаря правильному образованию, полученному преимущественно из рук русских коммунистов, эти нерусские солдаты смогли приобрести советскую сознательность и стать полноценными мужчинами» ((Petrona, 2002: 181).

Привлекая внимание к важной проблеме роли массовой литературы в процессе формирования образов мужчин, три анализа репрезентаций «тренированной мужественности», рассмотренные выше, на мой взгляд, обошли стороной вопрос о «пропорциональном соотношении» мужских образов на страницах печати и жизни реально существующих мужчин. Насколько правомерно ожидать от пропагандистской литературы вдумчивого и детального «отражения» реальности? Насколько взаимосвязаны «мужественность», обнаруженная в тексте, и «мужественность», практикуемая, допустим, на поле боя? Или, чуть в иной форме, в какой степени логика развития того или иного литературного жанра (дидактика, публицистика, пропаганда и т.п.) совпадает с логикой поведения людей? Речь не о том, что подобных совпадений не было или не могло быть, а о том, что анализ таких совпадений предполагает исследование не только *содержания* опубликованных текстов, но и практик их *прочтения*, т.е. выявление определённого зазора, нестыковки между исходным намерением «пропагандиста», вкладывающего идеологическое «послание» в тот или иной образ, и тем, как это «послание» (и этот образ) воспринимается его читателями где-нибудь на «передовой» или в «тылу» (подробнее об этом см.: Саркисова, 2002)

Анализ традиционных мужских ролей в сборнике естественным образом дополняют статьи, посвященные историческим особенностям ролей «мужа» и «главы семейства». Используя материалы, касающиеся семейных отношений преимущественно российской правящей семьи, Нэнси Коллман в статье «*“А при чём тут любовь?”: смена моделей мужественности в московской и петровской России*» проследивает резкую трансформацию отношений между супругами допетровской и петровской Руси. Как свидетельствует переписка Василия III (у власти с 1500 по 1533), Михаила Федоровича (1613–1645) и Алексея Михайловича (1645–1676) с членами их семей, брак в восприятии того времени понимался скорее в терминах уважения и сотрудничества. Целью семейного союза являлось стабильное воспроизводство важных символических (репутация) и материальных ресурсов (Clements, Friedman and Healey, eds., 2002: 22–23). Подобное восприятие семьи и брака, однако, начинает меняться на рубеже XVII и XVIII веков. В переписке с возлюбленными и женами мужчины всё реже ограничиваются сообщениями о своём здоро-

вье и всё чаще затрагивают тему своих чувств. Ярким примером подобных изменений в супружеских отношениях, по мнению историка, может служить брак Петра I с Марфой Скавронской (Екатерина I). Нарочито пышное венчание, многочисленные портреты и гравюры, изображающие Петра с его женой и детьми, их частые совместные появления в свете не только сформировали новую практику «публичной семейственности», но и заложили иное понимание брака, в котором на смену идее стабильности и воспроизводства семейных отношений пришло чувство эмоциональной близости супругов.

Впрочем, как свидетельствует статья Барбары Энгел, такая модель брака была далека от универсальной, – несмотря на закон, требующий от мужа «возлюбить жену как тело своё, жить в согласии с ней, уважать, защищать и прощать ей слабости её» (Clements, Friedman and Healey, eds., 2002: 114). Анализ прошений о разводах, поступивших в императорскую канцелярию в 1881–1914 гг. от женщин преимущественно крестьянского происхождения, и стал предметом статьи «*Брак и мужественность в России конца империи: «тяжелые случаи»*».

«Тяжелыми случаями» (*hard cases*) автор называет ситуации, в которых прошение жен о разводах сопровождалось отказом со стороны их мужей. Собственно, мотивация и риторика этих отказов и позволяют проследить, по мнению Энгел, как конструировалась мужественность в данный период. Краеугольным камнем, на котором строилась риторическая защита мужей от обвинений в насилии над женами, становился тезис об их неограниченной власти в пределах домохозяйства. Другой, не менее типичной, формой защиты была попытка представить удручающие детали семейной жизни, озвученные женой, как злобную клевету, призванную очернить доброе имя хозяина. Один из мужей, например, так реагировал на прошение своей жены: «Она не пожалела во мне ни человека, ни мужа, ни отца её детей». Ещё один разгневанный муж в ответ на просьбу о разводе, вызванную, как отмечает жена, в том числе и его «неестественными половыми запросами», писал: «ты называешь себя моей женой, но ведь ты запятнала мое имя и мою репутацию, чего никому до тебя не удавалось...» (Clements, Friedman and Healey, eds., 2002: 118).

Любопытно, что в защиту своей *супружеской* роли мужа нередко приводили аргументы, подчеркивающие их *общественные* заслуги. По мнению историка, такой акцент на *публичной* роли был призван обозначить место, на которое мужа претендовали в *общественной* иерархии. Именно на них, на отцах и главах семейства, и покоилась та структура власти, вершину которой занимал государь. Соответственно, любые попытки нанести удар по этому «основанию» могли лишить стабильности государственный строй в целом (*ibid.* 121).

Ещё одна пара концептуально близких статей рассматривает формирование мужских ценностей и мужских моделей поведения в связи с изменениями трудовых отношений в российском обществе. В статье британского историка С.А. Смита «*Переходная мужественность: крестьяне-мигранты в Санкт-Петербурге времен поздней империи*» отмечается, что усиление крестьянской миграции в Петербург в конце XIX века привело к тому, что более 63 % населения города в 1900 г. были крестьянами, не менее 79% из них были «пришлыми» (*immigrants*) (Smith, 2002: 95). В ряде случаев формирующиеся «городские рабочие» пытались отстоять и воспроизвести в новой для них среде уже известные им «традиционные» модели поведения – с выпивкой, гулянками, драками и сексуальными похождениями. Такая «приверженность» старым ценностям во многом отражала низкий статус «новых рабочих». Носителями иной модели рабочей мужественности выступили *мастеровые*, противопоставившие крестьянской «отсталости» и несдержанности строгую самодисциплину. Именно эта среда «*сознательных*» рабочих, как показывает Смит, и стала основой для формирования нового понимания того, что значит быть мужчиной. На смену ценностям силы и выносливости пришла иерархия, основанная на приоритете профессиональных навыков, способности к саморазвитию и самоконтролю (Smith, 2002: 108).

Томас Шранд в обзорной статье «*Социализм одного пола: мужские ценности сталинской революции*» исследует, как процесс ускоренной индустриализации, которую прошел СССР с 1929 по 1941 гг., повлиял на трансформацию нормативных политико-поло-



вых установок и ожиданий. Угол аналитического зрения, выбранный Шрандом для изучения динамики изменений мужских ролей, довольно неожидан. В центре внимания – не группа мужчин, не набор мужских образов и даже не описания мужчин, сделанные женщинами. Опираясь на уже опубликованные исследования по занятости женщин на производстве, дополненные результатами собственной работы в архивах, историк пытается понять, в какой степени рост числа *работающих женщин* изменил положение *мужчин*. По мнению исследователя, массовый приход женщин на производство сопровождался «повышением статуса мужчин в советском обществе» (Schrand, 2002: 194). Изменение статуса «мужского» отразилось и на символическом уровне: усиленная милитаризация общества в конце 1930-х годов сделала фигуру военного неотъемлемой частью жизни. И хотя для самих мужчин, как замечает Шранд, роль солдата была чревата как «преимуществами, так и потерями, в целом она способствовала дальнейшему укреплению «мужского» в советском обществе» (Schrand, 2002: 204).

Любопытным контрастом текстам сборника, исследующим «традиционные» варианты российской мужественности, служат две статьи, в центре которых оказались не совсем обычные фигуры *русского денди* и *русской тетки*. Именно *не-обычное*, маргинальное, эксцентрическое положение этих фигур и позволило авторам статей продемонстрировать, как одежда или сексуальность становятся способом социальной классификации людей.

Ольга Вайнштейн, российский культуролог, в своей работе «*Дендизм в России: создавая человека моды*» прослеживает становление щегольской культуры в России – от Петра I, с его указом 1700 года, требующим брить бороды и носить по будням немецкое и венгерское платье, а по выходным – французское (Vainstein, 2002: 52), до эстетствующих мирискусников начала XX века. Как замечает исследовательница, заимствование западной моды, как правило, имело два любопытных идеологических последствия. Само повышенное внимание щеголей (*flop*) к одежде нередко трактовалось как проявление женских (или детских) черт. Одновременно с этим, любовь к западной моде отождествлялась и с любовью к западным идеям; поклонники всего французского, например, часто воспринимались как защитники «свободомыслящего космополитизма». В итоге, «во времена, когда отношения с Западом охладели,... модным мужчинам приходилось терпеть разнообразные оскорбления» (Vainstein, 2002: 54).

Интересно, что результатом такой версии «низкопоклонства перед Западом» явилась всё-таки вполне отечественная фигура модника. Наиболее ощутимо отличие старорусских «стиляг» выразилось в их стремление продемонстрировать своё финансовое состояние посредством одежды – пуговицами, инкрустированными бриллиантами, дорогими булавками, зажимами и кольцами. Пиком подобного отношения к одежде и аксессуарам стала мода носить не один, а двое часов – желательной французской фирмы *Breguet* (Vainstein, 2002: 56). Ещё одним типично российским явлением была, по мнению автора, военная мода, немислимая среди западных модников с их отвращением к обезличивающей униформе. Генералу Кульневу, командиру Павлоградского гусарского полка, например, стоило немало трудов, чтобы административными методами избавиться от моды на серьги, быстро распространившейся среди его солдат и офицеров.

Именно способность светских и военных щеголей оказать влияние на формирование *массовой моды*, по мнению Вайнштейн, и определила их социально-историческую значимость. Не фигуры и не стиль отдельных представителей *элиты* – сколь блестящими они ни были – изменили в начале XX века роль одежды в жизни мужчин, но широко распространенный образ денди *среднего класса*.

Сходную диалектику центра и периферии исследует в своём тексте и Дэн Хили, историк из Великобритании. Используя архивные документы, историк прослеживает в своём очерке сначала появление, а затем и резкое исчезновение с центральных улиц российских столиц фигуры женоподобного гомосексуалиста, получившего в конце XIX века в публицистической и медицинской литературе прозвище «*тетки*» (*queen*).

Как отмечает автор статьи, последняя четверть XIX века была отмечена быстрым развитием рынка гомосексуальных услуг и самой гомосексуальной культуры в столице Рос-

сии. Особой известностью, например, пользовался питерский *Пассаж*. Впрочем, и сам Невский проспект – от Знаменской площади до Публичной библиотеки – являлся местом для встреч посвящённых. По средам *тетки* из высшего общества собирались на балете в Мариинском театре, а субботы обычно отводились на поиск «подмастерьев» или небогатой молодежи в цирке Чинизелли, сады вокруг которого (как и сама набережная Фонтанки неподалеку) оставались важным местом мужской проституции вплоть до 1920-х годов (Healey, 2002: 151).

Несмотря на бурное развитие, формирующаяся гомосексуальная культура не встретила особого сопротивления; напротив, как замечает исследователь, она способствовала появлению специфической индустрии – в виде бань, ресторанов и «балов для женоненавистников» (*balls of women-haters*) (Healey, 2002: 160). Не сильно изменилась эта культура и под влиянием революции и гражданской войны: уже в годы нэпа она достигла своего предвоенного размаха, и отмена новым российским правительством уголовного наказания за «содомию» лишь способствовала этому (Healey, 2002: 161). Способствовала, впрочем, недолго. Восстановление в 1933–1934 гг. уголовного преследования за секс между мужчинами и серия последовавших судебных дел, естественно привели к маргинализации яркой фигуры русской *тетки*.

Подводя итоги в *Заключении*, Р.Фридман и Д. Хили, на мой взгляд, абсолютно справедливо отмечают, что было бы неправомерно сводить российскую историю к «роли сноски, подтверждающей выводы исследований по истории пола в Европе» (Friedman., Healey, 2002: 225). И всё же. Проблема интеллектуальной и географической иерархии, проблема интеллектуального статуса исследователей и исследуемых обнажена в сборнике со всей полнотой. Из одиннадцати опубликованных статей, пять посвящены анализу тех или иных аспектов жизни мужчин и женщин в Москве и Петербурге, ещё в пяти статьях речь идёт о литературе или явлениях, которые призваны репрезентировать Россию «в целом»; наконец, одна статья посвящена состоянию «крестьянского общества». Причины пристального внимания к российским метрополиям, – как и недифференцированности «остальной» России, – понятны. Даже в тех случаях, когда речь идёт о провинции, историки данного сборника опираются на материалы, имеющиеся в столичных архивах (статья Фридман, если я не ошибаюсь, является единственным текстом, в котором используется, в том числе, и материал из провинциального архива). Организационные причины интеллектуальной центростремительности, повторюсь, ясны. Непонятным остается влияние такого отбора материала на очертания общей картины, которая формируется в ходе исследования. В каком соотношении находятся тенденции, обнаруженные авторами в столицах, с процессами, происходящими в «провинции»? В какой степени использование литературы, изданной в столичных издательствах в качестве основного – и зачастую единственного – источника, учитывает возможность доступа к печатному станку для авторов из провинции? Наконец, насколько правомерно оперировать среднеарифметическими понятиями «Россия» и «русские», игнорируя при этом различие между *российской* историей и историей собственно *русских* даже тогда, когда в центре дискуссии оказываются этнические вопросы?²

Но вернёмся к сноскам. Название «*Российские мужчины в истории и культуре*» вполне позволяет видеть в «*истории*» не только временной промежуток, но и определенную дисциплину. В том числе и *отечественную*. Казалось бы, исследования российских историков, освобождённые, наконец-то, от идеологического давления, могли стать для зарубежных коллег естественным партнером по диалогу. Партнером, который, может быть, не всегда знаком с последними тенденциями мировой исторической моды, но которому всегда есть, что сказать по поводу истории его собственной страны. Как свидетельствует сборник, в реальности ситуация выглядит прямо противоположным образом. Особого интереса к сказанному по-русски, судя по всему, нет. Дело не в том, что отечественные исследования не используются вообще – за редким исключением в статьях сборника

² О методах «руссковедения» см. Ярская-Смирнова, 2001.



активно цитируется литература, опубликованная по-русски. Важен статус цитируемых документов. Большим успехом, например, пользуются разнообразные сборники документов, мемуары и прочая литература, способная выступать в качестве *источника информации*. При этом практически полностью отсутствуют интерпретационные и аналитические выводы отечественных обществоведов.³ Итоги деятельности российской обществоведческой и гуманитарной «машины», с её академическими институтами, журналами, книгами и сотнями специалистов по всей стране – за исключением десятка работ, опубликованных по-английски, – с трудом различимы из-за рубежа. С доводами и выводами местных специалистов не спорят и их не комментируют. Их просто не замечают.

В какой-то степени такую ситуацию можно было бы списать на определённый «консерватизм» отечественных академических дисциплин, если бы не два важных момента. Во-первых, ссылки на «местный» традиционализм вряд ли могут объяснить, почему «за скобками» осталась и действительно новаторская деятельность российских исследователей. Например, казанского журнала «Ab Imperio», в течение ряда лет успешно «дестабилизирующего» традиционные схемы российской истории. Или отечественных специалистов в области «гендерных отношений», которые, – при всей теоретической и методологической неровности их работ, – сумели привлечь внимание академической общест-венности к проблематике пола.

Сведение российского гуманитарного знания до положения *источниковедческой базы* – и это, во-вторых, – становится более понятным, если обратить внимание на то, что в роли экспертов и интерпретаторов в сборнике, как правило, выступают историки, пишущие *по-английски*. Подобная ситуация, конечно, не нова. О феномене «неравенства языков», т.е. об иерархическом отношении, складывающемся между языком «аборигенов» и языком «исследователей», в последние годы писали немало (см., например, Спивак, 2001). И важным в этой полемике, мне кажется, является не только сложившаяся расстановка сил на глобальном академическом поле, которую политика такого – осознанного или неосознанного – цитирования обнажает. Существенную роль играет и то неравенство *знаний*, которое «неравенство языков» устанавливает. Поскольку, как справедливо заметил в середине 1980-х годов. Талал Асад, знание, которое местные языки фиксируют с большей заинтересованностью, «не представляет такого же интереса для западных обществ, как не представляют такого же интереса и те причины», которые вызвали это знание к жизни. (Asad, 1986: 158).

В 1986 году, призывая историков обратить внимание на пол как категорию исторического знания, американка Джоан Скотт, историк Франции, отмечала её особую *аналитическую* полезность. Изменения конфигурации властных отношений в обществе, как правило, проявляют себя в существенной ревизии основополагающих принципов «половой принадлежности», в ревизии качеств и характеристик, считавшихся до сих пор «традиционно» мужскими или женскими (Scott, 1988: 49). В статьях, о которых шла речь выше, категория пола, на мой взгляд, сыграла не столько аналитическую, сколько *синтетическую* роль, позволяя объединить под рубрикой «мужское» разнообразные качества, явления и процессы. Отсутствие четкой (аналитической) границы между тем, что считается «мужским» и теми, кто так считает, нередко выражалось в подмене анализа «мужского» анализом «классового» или, например, «этнического». Подобные подмены и смещения, безусловно, сопровождались интересными открытиями и интерпретациями, но само их наличие лишний раз подтверждает известный тезис о нестабильности категорий и практик пола. Сборник может служить хорошей иллюстрацией и ещё одного основополагающего тезиса современных исследований пола: категория пола неотделима от анализа власти. И, добавлю, от использования власти в аналитических целях.

³ См. подробнее: Трубина Е.Г. О соотношении локального и глобального в циркуляции социального знания // *Социемы*. № 8. URL: <http://www2.usu.ru/philosophy/soc_phil/rus/texts/sociemy/8/trubina.html>

Безусловной заслугой сборника «*Российские мужчины в истории и культуре*» стало стремление продемонстрировать историческое многообразие «мужского», показать историческую преемственность и исторические разрывы в формировании моделей и практик «мужского» поведения. Во многом это стремление обусловлено идеями о том, что за фасадом властных структур, культурных традиций и тенденций стоят живые люди. Со своими интересами, предпочтениями и предубеждениями. Как убедительно показали авторы сборника, нередко именно пол становится тем самым звеном, которое и позволяет свести эти интересы, предпочтения и предубеждения в единую цепь поступков.

Литература

- Саркисова О. Степень несвободы: в поисках утраченной субъективности // *Ab Imperio*. Теория и история национализма и империи в постсоветском пространстве. 2002. № 3. С. 593–606.
- Спивак Г. Могут ли угнетённые говорить? // С. Жеребкин (ред.) Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. Харьков, 2001.
- Ушакин С. «Человек рода он»: знаки отсутствия // С. Ушакин, сост. О муже(Н)ственности. Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
- Ярская-Смирнова Е. Взгляды снаружи, взгляды изнутри. «Мать-Россия» в постсоветской антропологии // Ярская-Смирнова Е. Одежда для Адама и Евы. М., 2001. С.187–216.
- Asad, T. (1986). The concept of cultural translation in British anthropology. In Clifford J., Marcus G. (Eds.) *Writing cultures: The poetics and politics of ethnography*. Berkeley.
- Chakrabarty, D. (2000). *Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference*. Princeton.
- Clements, B. (2002). Introduction. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (eds.) *Russian masculinities in history and culture*, New York: Palgrave Publisher Ltd., 11–15.
- Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) (2002). *Russian masculinities in history and culture*. New York: Palgrave Publisher Ltd.
- Friedman, R. (2002). From boys to men: Manhood in the Nicholaevian university. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (eds.) *Russian masculinities in history and culture*,. New York: Palgrave Publisher Ltd., 33–50.
- Friedman, R., Healey, D. (2002). Conclusions. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) *Russian masculinities in history and culture*. New York: Palgrave Publisher Ltd., 223–235.
- Gilmore, J., Clements, B. (2002). 'If you want to be like me, train!': the contradictions of Soviet masculinity.. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) *Russian masculinities in history and culture*, New York: Palgrave Publisher Ltd., 210–221.
- Healey, D. (2002). The disappearance of the Russian queen, or how the soviet closet was born. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) *Russian masculinities in history and culture*,. New York: Palgrave Publisher Ltd., 152–171.
- Kelly, C. (2002). The education of the will: advice literature, *zakal*, and manliness in early twentieth-century Russia. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) *Russian masculinities in history and culture*,. New York: Palgrave Publisher Ltd., 131–151.
- Mead, M. (1972). *Male and female: a study of sexes in a changing world*. New York.
- Petrone, K. (2002). Masculinity and heroism in imperial and soviet military-patriotic cultures. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) *Russian masculinities in history and culture*,. New York: Palgrave Publisher Ltd., 172–193.
- Schrand, T. (2002). Socialism in one gender: masculine values in Stalin revolution. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) *Russian masculinities in history and culture*,. New York: Palgrave Publisher Ltd., 194–209.
- Scott, J. (1988). *Gender and the politics of history*. New York.
- Smith, S.A. (2002). Masculinity in transition: peasant migrants to late-imperial St Petersburg.. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (eds.) *Russian masculinities in history and culture*. New York: Palgrave Publisher Ltd., 94–112.
- Todorova, M. (1997). *Imagining the Balkans*. New York.
- Turbine E.G. *On the relation of global and local in the circulation of social knowledge*. SOTSIEMI, 8. URL: <http://www2.usu.ru/philosophy/soc_phil/rus/texts/sociemy/8/trubina.html>
- Vainstein, O. (2002). Russian dandyism: constructing a man of fashion. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) *Russian masculinities in history and culture*. New York: Palgrave Publisher Ltd., 51–75.
- Worobec, C. (2002). Masculinity in late-imperial Russian peasant society. In Clements, B.E., Friedman, R. and Healey, D. (Eds.) *Russian masculinities in history and culture*, New York: Palgrave Publisher Ltd., 76–93.